



П. Б. СТРУВЕ

Большой писатель с органическим пороком

Несколько слов о В. В. Розанове

Возвращаюсь к этому писателю более чем через десять лет¹. В 1899 г. приходилось убеждать и доказывать, что Розанов крупный писатель*.

В «прогрессивной» печати видели тогда в Розанове только Иудушку из «Московских ведомостей», как его окрестил Вл. Соловьев в знаменитой полемической статье, изувера, писавшего в «Русском обозрении», что Ходынка есть искупительная жертва за 1-е марта 1881 г.², нашедшего себе затем теплый приют на столбцах «Нового времени» и там вволю юродствующего.

Много раз в те времена я на примере Розанова (и еще — Константина Леонтьева) убеждался, насколько трудно «реакционному» писателю добиться в русском общественном мнении даже чисто формального признания как литературной «величины». Но время шло, силы писателя развертывались, захват его дарования ширился, к старым «интеллигентским» темам он подходил так своеобразно, что его нельзя было не замечать, и, кроме того, сам он выдвинул целый ряд жгучих, проникающих в самые глубины «быта» тем, которые заинтересовали и интересовали решительно всех («Семейный вопрос!»). Все эти темы он трактовал со своеобразным художественным талантом, меткую характеристику которого читатель найдет ниже в «Библиографическом отделе» в заметке Андрея Белого³.

* Если не ошибаюсь, моя статья о Розанове «Романтика против казенщины», напечатанная в журнале «Начало» за 1899 г. (и перепечатанная в сборнике «На разные темы», СПб., 1902 г.), была в прогрессивной печати первым указанием на политическое и литературное значение писаний В. В. Розанова.

В русской литературе обозначился блестящий литературный талант, создавший почти новый вид художественно-конкретной публицистики, в которой мысль, философская или политическая, всецело сливалась с образами действительности, и исторической, и повседневной. Для художественного критика и для историка литературы благодарной задачей было бы сравнить абстрактную и сухую кисть Салтыкова-Щедрина как сатирика современной ему «исторической» действительности с конкретным и сочным карандашом Розанова как публициста своей эпохи.

Кажется, можно было забыть давние изуверства Розанова, тем более что по мере того как Россия шла к «революции», Розанов явно «левел», и в то же время художественное дарование его крепло.

Но... и тут речь должна идти о явлении, может быть, единственным в русской литературе, на котором нельзя не остановиться.

От реакционной розановщины «Московских ведомостей» и «Русского обозрения» Розанов, частью оставаясь в «Новом времени», частью отправляясь на отхожие заработки в «либеральные» издания, ушел так далеко, что дал ни с чем не сравнимое в остальной русской публицистике обличение старого порядка и любовно-художественное оправдание освободительного движения⁴. Ничего подобного розановской книге «Когда начальство ушло» в нашей литературе не имеется — рядом с этим произведением все, в том же жанре написанное, вяло, бледно, серо, безжизненно и безобразно. Превращение из реакционера в прогрессиста ничего удивительного не представляет, так же как ничего удивительного не представляло бы и превращение обратное. Но вот что изумительно: когда революция спала, когда начальство вернулось из своего отсутствия, Розанов в «Новом времени» напечатал две (а может быть, и больше) статьи, в которых вместо любовного оправдания революции с невероятной злобой, с которой может только соперничать невежество, обличал русскую революцию⁵. Пожалуй, даже и этому можно было бы не удивляться: почему в развитии идей у каждого писателя может быть только один перелом, почему в его идейной линии может быть только прямой подъем в ту или другую сторону и не может быть спуска, — словом, почему его духовная линия не может быть «кривой»? Изумительно и загадочно то, что свое любовно-оправдывающее революцию лицо Розанов показывает одновременно с лицом, ее злобно-обличающим. Ибо книга «Когда начальство ушло» издана в том же 1910 г., что и те статьи в «Новом

времени», которые сами просятся под другую обложку с названием: «Когда начальство пришло».

В чем же правда для Розанова? — имеет полное право спросить читатель. Или Розанов стоит по ту сторону правды и лжи?

«Напор революции есть напор дикости и самой грубой азиатской элементарности, а не напор духа и высоты. Революция не была другим философии — это никогда не надо забывать. Она всегда шла враждебно поэзии — это тоже факт. Весь застой России объясняется также из революции: не Магницкий, не Рунич, не Аракчев, не Толстой или Победоносцев — но Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней»

(«Новое время», № от
4 сентября 1910).

«Без Чернышевского и “Современника” Россия имела бы конституцию уже в 60-х годах; без Желябова, как “благодетеля”, она имела бы ее в 1881 году».

(«Новое время», там же).

«Наша “революция” или “эволюция”, смотря по вкусу и удачам будущего, есть только фазис в попытках человека заработать счастье своими руками. Революция — отдел науки. Прежде всего, в ней бездна научных элементов, она вся копошится научными теориями и все ее двигатели читают и перечитывают книжки и брошюры, — думают, спорят и, словом, так же действуют “во имя науки”, “найденного и доказанного”, как мученики действовали, когда шли в Рим “во имя Евангелия”. И как в мучениках и победе над Римом главное было не человеческий состав и не катакомбы, а Евангелие, так и в революции главная суть не сами революционеры, а наука.

Революция — *отдел науки*. И потому-то она непобедима. Секут головы, секли, а она все двигалась, побеждала, ширела. Как и христианство ширилось и после казней, потому что было за ним Евангелие».

(«Когда начальство ушло»,
СПб., 1910, с. 351)

«Все, что творится в спокойные эпохи, выходит несколько лениво, апатично; все, что творится среди беды, волнения, опасности, живуче, крепко. Так родился европейский строй нашей армии при Петре и другие его преобразования. Десятилетия мы жалели, негодовали, отчего конституция не дается “своевременно” и “сверху”;

но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили в 81-м году мертворожденной Лорис-Меликовской или Игнатьевской конституции, что все пошло своим чередом и до конца, старый порядок, можно сказать, “выворотил свою душу наружу” в японской войне и конституция пришла как гнев возмездия, пришла сама, а не была “приведена за ухо”, что она явилась как энергия и работоспособность, а не благоразумное новое учреждение».

(«Когда начальство ушло», с. 255).

«А притеснения земства? А репрессия печати? Без этих «благодетелей» мы шагнули бы вперед как европейская держава в точности на полвека: как Япония сумела же в полвека преобразоваться из изолированно-дикой страны в просвещенную по-европейски страну».

(«Новое время», там же).

«Не будь министерства народного просвещения, то в России, по крайней мере, так же, как в Японии 40 лет (sic!) назад*, в эпоху трехгодичного плена русского адмирала Головнина, были бы все грамотны. Наверно, иначе и нельзя представить у народа с историей, с церковью, с всевозможными ремесленниками-учителями по селам, с учителями-любителями и филантропами. Ведь грамотны же все у наших сектантов и старообрядцев. Но создалось министерство народного просвещения и сказало просвещению: “стоп”. Оно стало “тащить и не пущать” учеников, учителей, библиотеки, книги».

(«Когда начальство ушло», с. 165–166).

Число таких сопоставлений можно было бы значительно умножить, но и сделанные достаточно выразительны. Статья, из которой я заимствовал розановское наивное восхваление революции, помнится, была прочитана им в 1906 г. в одном религи-

* Головнин был в плену в Японии не 40, а почти 100 лет тому назад!

озно-философском собрании, устроенном Н. А. Бердяевым⁶. Присутствовавшие в этом собрании С. Н. Булгаков и я возражали тогда же против этой, на наш взгляд, совершенно некритической идеализации материалистического радикализма 60-х гг., преподносимой рядом с довольно грубым высмеиванием христианства. Булгаков в прениях заметил тогда Розанову, у которого он учился в Ливенской гимназии⁷, что они поменялись ролями: когда-то Булгаков, будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной и ее наивным культом положительной науки, а Розанов стоял на почве идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Розанову, переживающему рецидив гимназического увлечения писаревщиной. Свой доклад, теперь напечатанный в сборнике «Когда начальство ушло» под заглавием «Отчего левые побеждают центр и правых», Розанов хотел напечатать тогда же в «Русской мысли». Я готов был поместить его с надлежащей отповедью; но ни С. Н. Булгаков, которого я просил написать эту отповедь, ни я сам не собрались написать ее (то были дни второй Думы) — и так розановский гимн революции как науке оставался, если не ошибаюсь, ненапечатанным до 1910 г., когда он оказался включенным в сборник «Когда начальство ушло»⁸. Как далеко заходил Розанов в своем увлечении революцией, об этом свидетельствует блестящая статья «Ослабнувший фетиш», напечатанная в свое время отдельным изданием и теперь перепечатанная в сборнике «Когда начальство ушло». Эту статью я в свое время *решительно отказался* напечатать в «Полярной звезде», хотя своим художественным рисунком она пленила меня. Сделал я это вовсе не потому, что тут приходилось считаться с законами о печати. Ничего недопустимого по законам о печати в статье не было, и она была в этом отношении гораздо менее рискованной, чем другие статьи в «Полярной звезде», за которые прокуратура привлекала меня к суду. Но в 1906 г. поддакивать самому крайнему из русских политических настроений и направлений, говорить ему приятные вещи, когда каждое слово имело практический смысл, было ответственным актом, представлялось мне в моем положении, как политического деятеля-редактора, непозволительно легкомысленным, прямо бесчестным. И я отказался напечатать литературно-эффектную статью Розанова.

В самом деле: для Розанова написать такую статью — означало создать новую художественную арабеску, с моей стороны напечатать такую статью — означало произвести политическое действие.

Но все-таки я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочайшей любовной солидарности с самыми крайними тече-

ниями освободительного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих течений и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобызать, и оплевывать одновременно, будет обличать морально террор, одновременно с усмешечкой признаваясь печатно, что он в свое время радовался убийству Плеве*.

И вправду, *цинизм* есть надлежащая и единственная надлежащая характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не может быть и речи ни с какой точки зрения, ни с консервативной, ни с либеральной, ни с революционной. Тут можно только констатировать, описать факт и задуматься над его объяснением.

Что же это такое?

Я думаю, загадочное и страшное явление, как оно ни кажется простым. Есть, конечно, люди, которые просто объяснят такое поведение низменными расчетами, приспособлением к господствующей силе и велениям ее духа, носящегося в редакции «Нового времени». Правда, в отличие от блещущего талантом, художественного оправдания революции, новейшие обличения ее у Розанова вымучены и почти бездарны. Однако я думаю, что объяснять весь этот маскарад рассчитанным приспособлением было бы слишком просто и грубо. Конечно, это — приспособление к силе, конечно, — над всеми этими самоновейшими жестами Розанова можно было бы — подражая заглавию его книги — поставить заголовок: «Когда начальство пришло», но это объяснение все-таки недостаточно: оно слишком примитивно и не дает понять самого важного и самого страшного. Розанов потому так легко не то что приспособляется, а духовно льнет ко всякой силе, что у него нет никакого собственного стержня и упора, что он подлинный нигилист по отношению ко всему «историческому». В нем как в литераторе и человеке живет потребность не только быть в «хорошем обществе», ему приятно и хочется в то же

* «Мой “добрый друг” г. А. С-н в самом начале революционного движения передал возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед сельской церковью, взяли от нее крови и “помазали иконы в храме”, и о том, как возмущенные мужики, связавши их, “отрубили им всем головы перед этой самой церковью”. Г-н А. С-н, друг Соловьева и такой тоже прекрасный “вообще христианин”, рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительности, для решения важного вопроса. И я не осуждаю его. Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался» («Когда начальство ушло», с. 284–285. Подчеркнуто мной).

время постоянно купаться в самой нигилистической и нигилистически свободной атмосфере. Такова в известном смысле атмосфера «Нового времени». Он сам не раз подчеркивал, что «святыней» для него является только частная жизнь, семья. Что такое Розанов в семье, в своей семье, — об этом я ничего не знаю и, пока он жив, пока он не стал совсем «объектом», историческим «предметом», ничего не хочу знать. Но сам он говорит, что это — *его единственная святыня*, и я ему в этом верю.

«Я единственное утешение нахожу только в домашней жизни, где всех безусловно люблю, меня безусловно все любят, везде “своя кровь”, без примеси “чужой”, и “убийца” не показывается даже как “тень”, “издали”. Кроме “домашнего очага”, он везде стоит. Вот отчего я давно про себя решил, что “домашний очаг”, “свой дом”, «своя семья» есть единственное святое место на земле, единственное чистое, безгрешное место: выше Церкви, где была *инквизиция*, выше храмов, ибо *и в храмах проливалась кровь*. В семье настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьей), натуральной, натуральной любовью сцепленной — никогда! В семье и еще в хлевах, в стойлах, где обитают милые лошадки, коровы: недаром “в хлеву” родился и “наш Боженька”, Который бессильно молился в Гефсиманском саду...» («Когда начальство ушло», с. 278).

В политике же, в культуре, в религии Розанов — нигилист, никакому Богу не поклоняющийся, или, что то же, готовый поклониться какому угодно Богу по внушению исключительно своего «вкуса» в данный момент и разных «наваждений». Вот где корень его публицистического бесстыдства, безотчетного, органического. Это не приспособление Меньшикова, всегда до мелочей обдуманное и рассчитанное; это нечто внутреннее, стихийное, натуральное. Если бы Розанов не был так умен и хитер, можно было бы сказать, что его бесстыдство детски безгрешно. Увы! — именно в этой детскости есть что-то гадкое и страшное.

Помню, еще гимназистом я был поражен меткой аксаковской (К. С. Аксакова) характеристикой Ивана Грозного как «художественной» природы⁹. Как Иван Грозный был в исторической жизни «художественной» натурой, стоявшей вне добра и зла, правды и лжи, и потому и радикально-злой, и радикально-лживой, так и Розанов-писатель в своем отношении ко всему «историческому», к «революции», «правительству», к «республике», «монархии» тоже является художественной натурой. Он если не все, то многое видит. Но скажет ли он правду или ложь, — это, очевидно, зависит от какого-то живущего в нем мелкого и низменного беса, который боится и трепещет всякой фактической, в данную минуту непреодолимой или кажущейся непреодолимой силы.

Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура. Между прочим, органическая безнравственность Розанова как писателя обнаруживается в одной любопытной психологической черте, или черточке. Этот певец конкретности, быта, этот наблюдатель мельчайших черт реальности абсолютно беззаботен относительно фактов. Он фактов не знает и не любит. Он их презирает и безжалостно (бессовестно?) перевирает. По той причине, что они для него не «факты», не «дело», а бисер в его художественных узорах. Поэтому-то он часто попадает впросак и целые выводы строит на — *sit venia verbo!** — глупейших фактических ошибках, т. е. на невежестве или безграмотности. В предисловии к книге «Когда начальство ушло» целое рассуждение исходит от утверждения, что Кларан, Вевэ и Монтрэ — части «кантона Женева», тогда как всякому, со вниманием к «фактам» жившему в тех местах или наведшему справки в какой-либо «географии», известно, что эти поселения принадлежат к кантону Ваадту или Во. Вся характеристика Желябова как «бреттера и хвастуна» есть объективно плод совершеннейшего невежества. Желябов не только не был тем, чем его изображает безграмотный по этой части Розанов, он в истории нашего революционного движения — фигура прямо исключительная по своему государственному смыслу. Есть что-то глубоко трагическое в том, что этот государственный умница сыграл заглавную роль в таком противогосударственном и нелепом акте, как деяние 1 марта 1881 г. В. Я. Богучарский совершенно прав в своей оценке размеров личности Желябова¹⁰. И если Розанов говорит, что Богучарский не может «привести хотя бы одного его (Желябова) слова, хотя одного его афоризма революционно-философского», то эти слова Розанова свидетельствуют только о его глубочайшем невежестве. Ибо всякому знакомому с историей нашего революционного движения хорошо известны выдержки из писем Желябова к М. П. Драгоманову¹¹ (убежденному противнику террора), в свое время опубликованные самим Драгомановым. Эти выдержки, в которых замечательны не только мысль, но и стиль, свидетельствуют об огромном именно государственном уме и о национальном смысле Желябова, — в этом отношении особенно характерны его суждения о необходимости для России политического преобразования, к признанию чего Желябов пришел *благодаря* своему государственному смыслу и *вопреки* народнически-социалистическим предрассудкам, и его возражения против федерализма.

* да будет мне позволено так сказать! (лат.).

В области фактов, повторяю, Розанов — гомерический неряха и выдумщик.

В литературе вообще, в русской литературе в частности, я думаю, еще никогда не было подобного явления.

Как относиться к нему? — над этим невольно должен задуматься всякий, для кого вопрос о Розанове решается не просто справкой о том, что он состоит сотрудником «Нового времени». С одной стороны, ясновидец, несравненный художник-публицист, с другой — писатель, совершенно лишенный признаков нравственной личности, морального единства и его выражения, стыда.

Такое соединение именно потому является единственным в своем роде, что речи тут не может идти о падении или падениях Розанова. Нелепо, таким образом, говорить и об его исправлении. Я знаю, что я пишу нечто страшное, что нужно говорить весьма осторожно и весьма обдуманно. Да, Розанов не падает никуда, его безнравственность или бесстыдство есть нечто органическое, от него неотъемлемое. Прежде и я думал, что Розанов исправляется или, вернее, исправился, излечился от реакционного изуверства и стал «хорошим русским писателем, сочувствующим всему хорошему», только от «лютото телесе озлобления», т. е. ради монеты, пишушим в «Новом времени». Конечно, и в «Новом времени» он пишет, и в прогрессивные издания он ходит на отхожие заработки отчасти ради монеты. Но не это самое главное. Розанов, даже если бы захотел, не мог бы быть просто наемным писателем. Дело, стало быть, вовсе не в простом приспособлении. Теперь, даже если бы Розанов трижды отрекся от «Нового времени», Меньшикова и пр. и пр., — я бы этому отречению не придал никакого значения. Точно так же как — с противоположной стороны — я не придал бы никакого значения отречению Розанова от оправдания революции и восхваления революционеров и торжественному обещанию никогда не ходить на отхожие заработки в прогрессивные издания. Отречься от себя Розанов не может, а бесстыдство есть органическое существо его «художественной натуры».

Можете ли вы после всего, что вы говорите о Розанове, давать его произведениям место на своих страницах, и можно ли вообще пускать его в «прогрессивную» печать? — так спрашивают меня те, с кем я делился своим окончательным мнением о Розанове. Пока я верил, что Розанов падает и исправляется, исправляется и падает, я считал своим долгом не закрывать перед ним а priori страниц редактируемых мною изданий. Не только из терпимости. Нет, одним из моих мотивов было всегда признание большой объективной художественной ценности писаний Роза-

нова, на которую я указывал еще тогда, когда о Розанове не говорили иначе, как с презрительной усмешкой. Розанов один из первых русских писателей, и его бесстыдство есть большое горе нашей литературы.

Но все-таки литературные произведения суть *творения*, а не *выделения*, и литературное сотрапезничество есть общение между людьми, а не взаимодействие между нейтральными «организмами» или «системами», человеческое естество которых безразлично. Как ни замечательны в литературном отношении произведения Розанова, — именно в них так ярко обнаружилась его нравственная личность, что литературное сотрапезничество с ним невозможно для человека, видящего в писателе не «выделительный аппарат», а цельную и ответственную творческую силу.

Вопрос о нравственном образе писателя, да и вообще всякого человека, страшно труден. Но я этого вопроса в общей форме здесь не ставлю. Случай Розанова, по моему глубокому убеждению, совершенно особенный, не похожий ни на какие другие. Во-первых, тут вопрос ставится не о частной жизни человека, которая может быть безупречной или наоборот и до которой, впрочем, вообще никому нет дела. Даже, я повторяю, речь тут идет не о литературных падениях вроде тех, о которых Некрасов писал:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...¹²

Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, о его существе и естестве, неотъемлемом и непоправимом. Большой писатель с органическим пороком!

